

Brian D. Taylor. State Building in Putin's Russia: Policing and Coercion after Communism. Cambridge Univ. Press, 2011. xvii + 373 p.

По существу, книга Брайана Тейлора — это подробный отчет об итогах двух первых сроков Владимира Путина в деле построения государства в России. Именно построение государства (а не, скажем, рост экономики или борьба с коррупцией) выбрано в качестве критерия успешности путинского правления оттого, что с первых дней пребывания у власти Путин настойчиво представлял слабость государства главной проблемой российской политики. Строительство государства и восстановление порядка в стране новый российский лидер объявил своей первостепенной задачей. Неутешительный вывод, к которому приходит Тейлор, состоит в том, что задачу эту Путину решить не удалось и в деле построения государства он не преуспел.

Тейлор идет к этому выводу двумя дорогами: длинной и короткой. С одной стороны, он собирает и сводит воедино, кажется, всю имеющуюся информацию о силовых ведомствах: о том, как их сотрудники работают на низовом уровне, как функционируют отдельные министерства, как главы этих министерств — правительственные силовики — ладят или не ладят между собой, как они рекрутируются и назначаются. Эта богатейшая энциклопедия русской жизни собрана автором из прессы, из имеющихся аналитических обзоров и комментариев экспертов, а также на основании многочисленных интервью со знающими людьми (в том числе с военными и милиционерскими чинами, журналистами, пишущими о силовиках, юристами, социологами, политическими советниками и т. п.) со всех концов страны. Более полного рассказа о российских силовиках англоязыч-

ному читателю не найти. Русскоязычному читателю, впрочем, может показаться, что большую часть того, что рассказывает Тейлор, он и так знает, но это ложное впечатление. Во-первых, Тейлор собрал много новых материалов (которые, правда, несколько теряются в общем обилии информации). Во-вторых, изложение Тейлора систематично: отдельные факты сводятся в нем воедино, и читатель получает возможность увидеть путинский проект государственности целиком и во всех его измерениях.

Особенность анализа Тейлора состоит в том, что сила государства оценивается исключительно по его милиции — то есть буквально через имеющийся у государства потенциал принуждения. Этот подход отсылает к веберовской традиции, для которой центральными характеристиками государства являются сила и легитимность. Остроумный Тейлор идет даже дальше и, отчасти в шутку, отчасти демонстрируя эрудицию, цитирует высказывание Ленина о том, что «постоянное войско и полиция суть главные орудия силы государственной власти».

В принципе, такая позиция безупречна. Действительно, чтобы узнать, способно ли то или иное государство выполнять стоящие перед ним задачи, мы можем взять за точку отсчета деятельность полиции, которая должна принуждать граждан действовать в соответствии с законами, принимаемыми государством для осуществления этих задач, и посмотреть, насколько ей это удастся. Тейлору, впрочем, не нужно оправдываться за ограниченность подхода, поскольку помимо слабости российской полиции он использует и иные показатели эффективности

государства, не связанные с качественной оценкой деятельности силовых структур. Например, он приводит данные о собираемости налогов и количестве убийств, совершаемых в стране ежегодно. Этот, второй путь, естественно, короче первого; он ужимается буквально до нескольких графиков, когда Тейлор обращается к данным индексов *Worldwide Governance Indicators (WGI)*, составляемых с 1996 года под эгидой Всемирного банка и оценивающих отдельные аспекты функционирования государства (такие как верховенство права или контроль над коррупцией).

Индексы *WGI* дают возможность кросснационального и кросстемпорального сравнения: используя эти индексы, можно проследить эволюцию силы российского государства с 1996-го по 2010 год, а можно сравнить Россию с другими странами. Из этих несложных упражнений следует два замечательных вывода. Во-первых, российское государство оказывается неожиданно слабым по сравнению с другими странами сопоставимого экономического достатка. Во-вторых, ситуация в этой области не менялась с ельцинских времен: динамика отдельных показателей *WGI* либо неясная (то есть сила государства то чуть-чуть подрастает, то снова снижается, но в целом одинакова), либо и вовсе отрицательная.

Наблюдая, как эволюционировала силовая политика при Путине, Тейлор задается вопросом о том, почему популярный президент, распоряжающийся весьма изобильным бюджетом, не смог улучшить ситуацию: почему не стали лучше работать силовые структуры, почему не снизилась коррупция, не упрочилось верховенство права и т. д. Ответ на этот вопрос Тейлор, по сути, постулирует — он пишет, что путинская политика в отношении силовых ведомств просто была неправильной. Во-первых, она строилась на кадровом патримониализме.

Во-вторых, Путин не предложил силовикам новой корпоративной миссии. И в-третьих, он устранил все механизмы независимого гражданского контроля над их деятельностью (то, что в теории принципал-агента называется «пожарной тревогой», *fire alarms*), оставив только «полицейские патрули» (*police patrols*) — практику личного контроля принципала за поведением агента.

Автор уделяет изрядное внимание доказательству того, что путинская политика в отношении силовых министерств действительно строилась описанным выше образом. Это доказательство нужно Тейлору для одного из двух его сильных утверждений — о том, что слабость российского государства является следствием именно дурной стратегии его политического руководства, и ничего больше.

Это утверждение заслуживает отдельного рассмотрения. Чтобы установить, насколько отдельные факторы способствуют силе государства, нужно понять, что это за факторы, найти страны, которые будут схожим с Россией образом подвержены их влиянию, и сравнить Россию с этими государствами. Тейлор проделывает все это посредством статистического анализа: он создает из нескольких показателей *WGI* индекс слабости государства и на большом числе случаев оценивает то, насколько слабость государства зависит от таких факторов, как ресурсное богатство, уровень экономического благосостояния, а также от того, была ли страна частью Советского Союза. Затем, узнав, как эти факторы влияют на силу государства, он рассчитывает тот показатель силы государства, который предсказывает для России модель, и сравнивает его с той реальной оценкой, которую Россия имеет в рейтинге *WGI*. Россия, как выясняется, сильно недотягивает до «норматива», что Тейлор связывает именно с плохой политикой руководства. При этом Тейлор

намеренно ступает на территорию другого влиятельного исследования России — а именно статьи Андрея Шлейфера и Дэниела Трейсмана «Обычная страна»¹. Тезис Шлейфера и Трейсмана состоит в том, что многие неурядицы, которые принято считать российскими патологиями, особенностями именно российского развития и проч., на самом деле свойственны всем развивающимся странам. Соответственно, достаточно выбрать для России честного спарринг-партнера, и мы увидим, что ничего экстраординарного в России не происходит. Тейлор, проделав примерно ту же операцию, которую предлагают Шлейфер и Трейсман, приходит к противоположному выводу: он показывает, что на самом деле Россия — страна, как минимум, с ненормально слабым государством.

Есть, однако, некоторая натяжка в том, чтобы связывать эту слабость исключительно с неумной политикой Путина, поскольку, как уже отмечалось выше, Путин не сделал государство ни сильнее, ни слабее; по большому счету, в 2008 году оно оставалось таким же, каким было, например, в 1996-м. А раз так, то, возможно, правильной было бы задаться вопросом о том, что за неведомая сила неизменно сковывает волю российских реформаторов, не давая им залатать очевидные для них бреши очевидным для них способом.

Кроме того, тезис о том, что в своих попытках построить в России сильное государство Путин просто использует неправильную стратегию, вызывает сомнения еще и по другой причине: разумеется, политики иногда ошибаются, но когда они это делают с таким упорством, политологу впору задуматься, правильно ли он понимает, что это именно ошибка. Не следует ли предположить, что ошибку делает он сам, неверно трактуя целеполагание политика? Вот, например, как Тейлор подводит итог путинского правления: «В целом усилия

Путина по строительству сильного государства привели к противоречивым результатам. Собираемость налогов выросла, и расширились возможности репрессировать политических противников. За время второго срока снизилось число убийств, хотя, по сравнению с мировыми показателями, оно осталось довольно высоким». Прочитав это описание, сам Путин наверняка подумал бы, что он молодец: и собираемость налогов повысил, и может репрессировать противников — ну не красота ли? Для Тейлора, однако, такая трактовка неприемлема, поскольку его взгляд на мир нормативен: когда Путин отклоняется от более «правильного» политического курса, для Тейлора это только ошибка, а не признак того, что Путин, возможно, с самого начала проводит другой курс и ставит перед собой другие задачи.

Эта нормативность, в частности, проявляется в том, что помимо категории силы государства Тейлор вводит еще одну — его качество, и в анализе российского случая уделяет ей большое внимание. Вообще-то классической парой для литературы о государстве являются его сила и автономия — *state capacity* и *state autonomy*. Две эти концепции были введены в обращение Тедой Скочпол² в начале восьмидесятых, когда в политологии и социологии возродился интерес к государству. Силу государства Скочпол определила как его способность выполнять решения, принимаемые правительством, а автономию — как независимость правительства от интересов отдельных социальных групп, классов или общества в целом в формулировании таких решений. Как видно, в совмещении этих категорий есть особая логика взаимодополнения, поэтому их, как правило, не используют порознь. Тейлор же отказывается от понятия автономии, а вводит новое — качество государства — и на нем строит свой

второй сильный аргумент. Чтобы построить сильное государство, утверждает он, необходимо одновременно стремиться к тому, чтобы оно было качественным.

Делая это утверждение, Тейлор оговаривается, что оно носит нормативный характер. На мой взгляд, однако, проблема тут не в нормативности, а в том, как именно определяется понятие качества. Говоря о силе государства, Тейлор предлагает проводить различие между его способностью выполнять рутинные, предписанные ему функции (бороться с преступностью, собирать налоги и т. д.) и исключительные задания, формулируемые *ad hoc* и часто незаконные (например, разогнать оппозиционный митинг). Соответственно, смещение баланса в сторону выполнения рутинных задач и отказ от выполнения задач исключительных в понимании Тейлора является показателем более высокого качества государства. Определив таким образом качество, Тейлор соотносит его с силой государства и путем перекрещивания разных вариантов (например, низкая сила — низкое качество, высокая сила — низкое качество) получает некую типологию государств.

Удивительным свойством этой типологии является то, что, будучи изначально построенной как матрица два на два, она на выходе дает не четыре типа, а только три: слабых, но качественных государств не бывает. И уже это дает основания задуматься, насколько осмысленно соотносить между собой две категории, одна из которых определена через другую. Действительно, если качество государства — это лишь разновидность его силы, то, соотнося их между собой, мы искусственно задаем градацию от ситуации слабого государства к ситуации, когда оно сильное и при этом его сила используется для достижения всеобщего блага, а по пути проходим промежуточный вариант, где государство как будто сильное, но его сила используется правительством в дурных целях.

Эта классификация хромает на одну ногу, чтобы не сказать, что у нее вообще всего одна нога. Работа с такой классификацией чревата соблазном провозгласить тренировку этой единственной ноги — то есть усиление государства — самой верной дорогой к построению государства, которое служило бы всеобщему благу. Вообще говоря, ключом к построению такого государства может быть что-то иное — а не только его усиление, — просто ничего, кроме силы, автор в свое теоретическое построение не включил. Неудивительно, что сам Тейлор поддается этому соблазну и заявляет, что наблюдаемая им градация является признаком того, что сначала государство становится сильным и уж потом — качественным. На самом деле это утверждение не только не обоснованно — оно может быть попросту неверным. Так, Стивен Левитски и Лукан Уэй убедительно показывают в своей последней книге, что если какое-то свойство государства и способствует становлению демократии, то это его слабость и проистекающая из этой слабости неспособность правителей узурпировать власть³.

Помимо этого, некоторая частная проблема возникает с тем, чтобы в терминах силы и качества государства описать российский случай, который не отличается ни силой, ни качеством и к тому же не показывает никакой временной вариации по этим показателям. Российское государство было слабым при Борисе Ельцине и осталось слабым при Владимире Путине. Его качество было низким, и оно не повысилась. Единственное измерение, в котором как будто произошли какие-то содержательные изменения, — это автономия: при Путине государство стало зависеть в формулировании повестки дня от группы давления, которая при Ельцине оставалась на вторых ролях, а именно от силовиков, и, по-моему, странно, что Тейлор лишает себя

удовольствия порассуждать о том, как это переподчинение должно было сказаться на развитии государства в России: привело ли оно к росту или снижению его автономии, и есть ли какая-то существенная разница между ситуациями зависимости государства от силовиков и от крупного бизнеса.

Может показаться, что все это теоретические тонкости, не имеющие реального значения, но на самом деле это не так. История, которую Тейлор рассказал бы с использованием другой теории, звучала бы иначе. Это была бы история о том, как была построена политическая машина Путина, какую роль в этом процессе сыграли силовики и какую роль они играют в российской политике сегодня. При этом многие ложные загадки — вроде той, почему Путин предпочитает «полицейские патрули» «пожарной тревоге» — были бы сняты. На эти вопросы не пришлось бы давать мало что проясняющие ответы (вроде того, что Путин проводит такую политику по ошибке), а взамен мы получили бы замечательный анализ, на практике показывающий, почему политика, которая наилучшим образом обеспечивает удержание власти, обыкновенно не служит интересам граждан (или, вспоминая

название недавней книги Брюса Буэно де Мескиты и Алистера Смита, «почему дурное поведение почти всегда оказывается хорошей политикой»⁴).

Притом возможность такого анализа в данном случае не является фантазией рецензента: контуры этого анализа видны во всех разделах книги, где присутствуют элементы сравнения путинского и ельцинского периодов, и в особенности — в блестящей главе о путинской централизации, где к имеющейся богатой эмпирике пристегнута не хромоногая теория качества государства, а более стройная теория осуществления власти в федерациях. В этой главе мы отчетливо видим, как и почему силовики стали основной клиентелой Путина в нулевые годы и какая властная архитектура была выстроена вокруг этого клиентелизма. В принципе, перестроив собственную оптику таким образом, чтобы отфильтровывать не вполне органичный нормативизм Тейлора, читатель разглядит ту же историю и во всех остальных главах. Для такого читателя «Построение государства в России Путина» (*“State Building in Putin’s Russia”*) станет наилучшим путеводителем по путинской России. ■

ИВАН ГРИГОРЬЕВ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Шлейфер А., Трейсман Д. Обычная страна // Рабочие материалы. № 7. М.: Московский Центр Карнеги, 2004.

² Skocpol T. Bringing the State Back in: Strategies of Analysis in Current Research // Bringing the State Back in / P. Evans et al (eds.) Cambridge Univ. Press, 1985.

³ Levitsky S., Way L. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2010.

⁴ Bueno de Mesquita B., Smith A. The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics. Public Affairs, 2011.

Григорий Голосов. Демократия в России: инструкция по сборке. СПб. БХВ-Петербург, 2012. 208 с.

Новую книгу Григория Голосова можно воспринимать как развитие темы, заданной в классической книге Роберта Даля «О демократии» — только на российской почве. Следует признать, попытка увенчалась успехом.

Книга в основном составлена из текстов, опубликованных автором на портале Slon.ru. Последние несколько лет Голосов ведет здесь тематический блог, в котором регулярно делится своими соображениями как о текущих событиях, так и об их долговременных последствиях для российской политической системы. Тексты изначально адресовались молодой интернет-аудитории, а не специалистам, что, по-видимому, и определило некоторую легковесность авторского стиля. Но обманываться не стоит — все рекомендации, касающиеся оптимального для России институционального дизайна, построены на прочном эмпирическом и научном фундаменте и, за малым исключением, звучат весьма убедительно.

Текст можно условно разделить на две неравные части. В первой, большей, Голосов дает четкие, аргументированные указания, как наилучшим образом обустроить политическую систему будущей свободной России, исходя из мирового и собственно российского опыта. Полупрезидентскую систему следует заменить на премьерско-президентскую (с. 71; 151–159). Избирательную систему для парламентских выборов оставить пропорциональной, но не в едином округе, а в округах малой величины (с. 125). Отказаться от региональных списков, но, вопреки чаяниям российской оппозиции, не возвращаться ни к порогу явки, ни к голосованию «против всех» (с. 106). Голосов не боится идти и против единственного, пусть и

хрупкого общественного консенсуса о необходимости возврата к прямым выборам губернаторов — предлагая взамен довольно сложную схему непрямых выборов (через местные законодательные собрания), посредством которых будет изжита манипулятивная тактика «паровозов» (с. 79–87). И так далее. Если представить на мгновение, что люди с Болотной, перейдя Большой Каменный мост, обнаружили перед собой обезлюдевший Кремль, то с этой книгой в руках молодая российская оппозиция могла бы построить сносную — или даже почти идеальную — политическую систему с устойчивыми демократическими институтами. Не зря издатель вынес благодарственный отклик Алексея Навального прямо на первую страницу обложки.

Вторая, заметно меньшая и заключительная часть книги посвящена собственно тому, нужна ли демократия в России. И хотя после «пугинского эпизода», как называет автор авторитарный поворот 2000-х, в России «не осталось сколько-нибудь заметных политиков, которые выступали бы против демократии» (с. 196), автор тем не менее чувствует необходимость подробно разобрать вместе с читателем типичные антидемократические аргументы (вроде специфики российского менталитета, определяющей неготовность россиян к демократии, большей устойчивости авторитарных систем или их эффективности в деле модернизации).

Но по мере погружения в эту исключительно добротную и одновременно легко написанную книгу нарастает смутное беспокойство. Услышат ли ее адресаты (по замыслу автора, в их число входят как рядовые избиратели, так и политики) эти толковые

советы? Если и услышат, почему обязательно им последуют? Если мы продолжим наш фантастический сценарий, то, перейдя через мост, не забудут ли лидеры демократической оппозиции о своих убеждениях? И главное, нельзя же всерьез полагать, что Кремль правда опустеет и с предыдущими элитами не придется ни о чем договариваться. Голосов и сам исходит из того, что если демократизация и произойдет, то «будет продуктом взаимодействия между нынешними властями, то есть правящей группой в целом, и какой-то несистемной, не интегрированной в нынешний порядок оппозицией» (с. 51). Но если то, что нас ждет при самом оптимистичном сценарии, будет плодом компромисса между остатками старого режима и новыми элитами, в чем смысл набросков идеального институционального дизайна, словно у нас будет шанс построить государство в чистом поле и лишь потом заселить его людьми?

Для ответа на этот вопрос необходимо резко сменить оптику и посмотреть на книгу Голосова не как на политологический текст, а как на примету времени, объект для изучения через призму социологии протеста. Пусть начальной точкой нашего рассуждения будет чуть наивное предположение о том, что такие, адресованные «широким массам» публицистические тексты о политическом устройстве страны отражают рост реального «низового» спроса на народное представительство, причем не на бумаге, а в реальной жизни. Действительно, не претендуя на глубину анализа, легко увидеть, что в истории России было лишь два момента, когда выходили десятки, а то и сотни популярных произведений об изменении политического устройства: это 1905 и 1917 годы. Тогда, в эти два коротких периода, когда власть оказалась на развилке между авторитаризмом и демократией, подобная литература захлестнула книжный рынок. Здесь были и вполне основательные работы, вроде книги профессора Знаменского «Что нужно России

для закрепления в ней демократической республики», но было много и таких, как тоненькая брошюрка «Что нужно знать каждому свободному гражданину», в которой трогательно объяснялось, зачем, собственно, России демократия: «Жизнь в Швейцарии свободная, там нет ни воров, ни нищих, народ живет очень хорошо. Потому в Швейцарии жизнь хороша, что там народное управление — Демократическая Республика, которая и нужна России». Этот всплеск литературно-просветительской деятельности продлился лишь несколько месяцев, с тем чтобы затем надолго умолкнуть. И хотя при некотором усилии события 1991 года можно считать революцией, к массовой рефлексии о том, какой политический строй нам все же нужен, это не привело. Если не считать анекдотически-проповеднического, пафосного даже по меркам наивных перестроечных лет «Как нам обустроить Россию» Солженицына, разве что авторы афанасьевского сборника «Иного не дано» 1988 года пытались выстроить линию аргументации о деталях построения демократии в России — западного типа, а не в ее социалистическом изводе. В тот момент говорить с гражданами о таких мелочах, как институциональный дизайн, казалось неуместным. Но и затем, даже в преддверии принятия конституции 1993 года не появилось ни одного толкового публицистического текста, подобного голосовской книге, где понятным, а не кондово-канцелярским языком обсуждался бы вопрос об оптимальном государственном устройстве. Отсутствие читательского спроса на подобную литературу не может быть ответом на вопрос, были ли события начала 1990-х «революцией снизу», но, по крайней мере, это означает, что немногих тогда занимали мысли о том, при каком, собственно, режиме они хотели бы жить.

Возможно, одним из главных итогов декабрьских выборов 2011 года можно назвать консенсус между обществом и властью, в котором обе стороны призна-

ли — электоральный авторитаризм себя изжил. В главе с говорящим названием «Электоральный авторитаризм как худший из миров» Голосов доказывает, что в долгосрочной перспективе управляемая демократия — тупиковый путь. Но и мыслящая куда более короткими промежутками власть тоже осознает, что необходимо либо сдвигаться в сторону демократизации, пусть постепенно и выборочно, либо подыскивать опору для легитимности где-то вне поддержки большинства, которая становится угрожающе шаткой.

Голосов склонен считать, что в элитах наблюдается полное согласие по вопросу о необходимости демократии: «У путинского эпизода в истории России (а в широкой перспективе это очень затянувшийся, но именно эпизод, — в отличие, скажем, от эпохи Ельцина) есть один в высшей степени позитивный итог. В России не осталось сколько-нибудь заметных политиков, которые выступали бы против демократии». Но этот взгляд представляется излишне оптимистичным. Стремительный всплеск массовой политической вовлеченности, начавшийся на Болотной, развивался (и развивается) бок о бок с нарастающей архаизацией политического дискурса власти: от державно-жертвенной апелляции к памяти героев 1812 года во время «антиоранжевого» митинга на Поклонной горе в феврале 2012-го до передачи роли идеологического отдела государства Русской православной церкви (единственному в России институту, который возводит себя к царской России). И если книга Голосова преимущественно тем десяткам книжек и брошюр, где вчерашним крестьянам рассказывали о достоинствах «четырёххвостки» (прямого, равного, тайного и всеобщего голосования), то проповеди патриарха о богоугодности всякой власти или осторожные призывы к поискам легитимности в дореволюционном прошлом и «восстановлении чувства исторической справедливости»¹ генетически род-

ственны авторитарным манифестам начала XX века, чьи авторы в ответ на требования демократических перемен пытались обосновать «несостоятельность начала большинства как принципа государственно-общественного строительства» (название одной из брошюр монархиста Щечкова).

Из исходной точки — электорального авторитаризма — есть два выхода: в сторону более жесткого авторитаризма либо более последовательной демократии. Каким из двух путей страна последует, зависит от баланса сил в политической элите. Система находится в движении, и сколь бы ни были убедительны аргументы, приводимые Голосовым как в защиту демократии в целом, так и в пользу тех или иных ее форм, конечная точка зависит от общей равнодействующей множества разнонаправленных сил — это наглядно демонстрирует и сам автор в главе «Геометрия демократизации». Но раз конкретный дизайн будет определяться расположением и мощностью сил политических акторов в момент пересмотра правил игры, то и советы об оптимальном устройстве не будут услышаны. Профессиональный ученый-политолог в этом смысле похож на беньяминовского ангела истории, летящего в будущее спиной вперед, — можно лишь констатировать ошибки прошлого, но влиять на ход событий невозможно. Внутреннее противоречие между позицией честного исследователя и потребностью в указании верного пути будущим демократическим политикам порождает в тексте любопытные парадоксы. Если от прямых выборов губернаторов предлагается отказаться из-за опасности скатиться в субнациональный авторитаризм (с. 81), то прямые президентские выборы все же стоит оставить. Но если смириться с антидемократическими склонностями избирателя и элит на региональном уровне, то почему надо стесняться признать их на федеральном? Ответ прост: если идти до конца по пути честной фиксации действи-

тельности, то заявленная цель просветительства «широких масс» в области демократии окажется недостижимой.

Поэтому, например, Голосов убеждает и себя и читателя в том, что именно Конституция 1993 года привела нас туда, где мы сейчас находимся. Но все же будем честны: сложившаяся композиция институтов всегда является отражением расстановки сил на момент ее фиксации в конкретных конституционных текстах, и по сравнению с этим влиянием формализованных правил на «равнодействующую», как сказали бы физики, можно пренебречь. Действительно, у российской Конституции 1993 года есть множество существенных изъянов, на которые справедливо указывает Голосов (с. 131–135), но это не позволяет объяснить, почему авторитарный поворот произошел лишь десять лет спустя. А многочисленные изменения избирательной системы в 2000-х демонстрируют беззащитность любых (пусть и не оптимальных) правил перед стремлением власти к расширению своих полномочий, если нет влиятельных игроков, заинтересованных в их сохранении. И надо заметить, угнетенный, по словам Голосова, массовый российский избиратель тоже не подал голос в защиту тех самых прав; более того, он «не заметил, как был [их] лишен» (с. 79). Отсутствие голоса граждан объясняется, пожалуй, не тем, что у них были связаны руки (тут стоит заметить, что репрессивный характер режима стал постепенно усиливаться *после*, а не *до* авторитарного поворота), а тем, что они увлеклись быстро растущими возможностями потребления, и к тому же ущемление политических прав, по

всей видимости, в их глазах не казалось важной утратой. Несмотря на то что, по мнению Голосова, именно народ был наиболее уязвимым игроком, оказавшимся внакладе в результате движения к авторитаризму в течение 2000-х, граждане до недавнего времени сохраняли молчание. Причиной столь затянувшейся паузы может быть лишь «нулевая равнодействующая» — негласный контракт, в рамках которого власть расплачивалась с обществом за его политическую апатию, нечто вроде аналога «Большой сделки» Сталина со средним классом в 1930-х, по Вере Данхем², или «Малой сделки» при Брежневе, по Джеймсу Миллару³. Но какой бы ни был размер и природа путинской сделки с российским средним классом в 2000-х, сейчас очевидно — срок ее действия вышел.

Но если очертания будущей политической системы все равно сформируются в результате борьбы разнонаправленных сил (подобно тому, как, по мнению Чарльза Тилли, формировалась демократия в Европе⁴), означает ли это, что задумываться об институциональном дизайне нет смысла? Разумеется, нет. Именно работа мысли, вызванная чтением блога Голосова на «Слоне» или его книги, осознание того, что государственные институты — лишь сумма индивидуальных предпочтений, а не спущенная сверху директива, ускоряют превращение советского человека в гражданина посткоммунистической России. В этом достоинство книги Голосова, несмотря на то, что сами его рекомендации, к сожалению, имеют мало шансов воплотиться в жизнь в реальном политическом пространстве. ■

ФИЛИПП ЧАПКОВСКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ См.: *Зубов А.* Откуда нам плыть // Ведомости. 2012. 5 мая.

² *Dunham V.* In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Durham: Duke, 1990.

³ *Millar J. R.* The Little Deal: Brezhnev's

Contribution to Acquisitive Socialism // *Slavic Rev.* Vol. 44. No 4. Winter 1985. P. 694–706.

⁴ *Tilly Ch.* Contention and Democracy in Europe: 1650–2000. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2004.

Daron Acemoglu, James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Crown Publishing Group, 2012. 529 p.

Дарон Эйсеоглу и Джеймс Робинсон только что опубликовали объемистую книгу «Почему нации терпят неудачу: Истоки могущества, процветания и бедности». Этот труд, посвященный проблемам развития, наверняка привлечет внимание читателей. В среде тех, кто занимается тематикой развития, наметилось повальное увлечение рандомизированными контролируруемыми исследованиями, в ходе которых респондентам предлагается ответить на множество частных вопросов, вроде такого: «Способствует ли долевая оплата москитных сеток для кроватей их продвижению на рынок?» Весьма сомнительно, чтобы подобные исследования, даже в их совокупности, приблизили нас к пониманию закономерностей развития. Напротив, Эйсеоглу и Робинсон сосредоточены исключительно на макропроблемах: их интересует, как современные институты формировались на базе институтов колониальных; почему регионы мира, которые по состоянию на 1500 год были самыми богатыми, сегодня оказались в числе беднейших и как побудить состоятельные элиты делиться своими богатствами. В рецензируемой книге авторы заново формулируют и развивают положения, выдвинутые ими в более ранних статьях «Колониальное происхождение институтов» и «Непостоянство Фортуны», но в отличие от этих академических работ новая книга написана доступным для массового читателя

языком и речь в ней не идет о таких сложных материях, как регрессии или теория игр.

Эйсеоглу и Робинсон выдвигают две взаимосвязанные идеи: они считают, во-первых, что институты влияют на экономический рост и, во-вторых, что институты существуют в их нынешнем виде по той причине, что в любом обществе есть политические силы, заинтересованные в этом. Подобные сентенции могут показаться общим местом, тем не менее многие люди, занятые проблематикой развития, недооценивают их. У специалистов по развитию популярна гипотеза — авторы книги называют ее «гипотезой невежества», — гласящая, что провалы развития случаются потому, что руководители той или иной страны не знают, что такое хорошая, правильная политика (это старая идея вашингтонского консенсуса), или — поскольку сейчас акцент сместился на институты, — не знают, что такое хорошие институты и как их создать. Многие агентства по вопросам развития ведут себя так, словно лидеры в развивающихся странах жаждут проводить правильную политику, да вот не знают, как это сделать. Поэтому содействовать развитию должны умные парни из таких мест, как Вашингтон, командируемые с целью научить местных лидеров уму-разуму, ну, может быть, не без некоторого «выкручивания рук», призванного подтолкнуть их к перестройке существующих структур.

Напротив, утверждают авторы книги, плохие институты являются порождением политических систем, работающих на обеспечение частных выгод для элит в развивающихся странах, даже если этим усугубляется бедность общества в целом (вспомним Нигерию,

ПЕРЕВОД РЕЦЕНЗИИ ФРЭНСИСА ФУКУЯМЫ (FRANCIS FUKUYAMA) "ACEMOGLU AND ROBINSON ON WHY NATIONS FAIL", ОПУБЛИКОВАННОЙ НА САЙТЕ ЖУРНАЛА THE AMERICAN INTEREST ([HTTP://BLOGS.THE-AMERICAN-INTEREST.COM/FUKUYAMA/2012/03/26/ACEMOGLU-AND-ROBINSON-ON-WHY-NATIONS-FAIL/](http://blogs.the-american-interest.com/fukuyama/2012/03/26/acemoglu-and-robinson-on-why-nations-fail/)) © 2012, THE AMERICAN INTEREST LLC. ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ THE AMERICAN INTEREST

в которой много мультимиллионеров, в то время как 70 проц. населения живет за чертой бедности). Политически «правильно» было бы лишить такие элиты ренты, которую они сейчас получают. Иначе никакие запугивания и угрозы отказать в предоставлении очередного кредитного транша не окажут на их поведение ощутимого влияния. В данном случае авторы утверждают практически то же самое, к чему в 2009 году пришли авторы книги «Насилие и социальный порядок» (*Violence and Social Orders*) Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Уэйнгайт. Согласно им наиболее отсталые общества — это те, которые они называют обществами «с ограниченными возможностями доступа» (*limited access orders*) и в которых коалиции рентополучателей блокируют остальным гражданам доступ к участию в политической и экономической системе. Честно говоря, я не вижу большой разницы между дихотомией «экстрактивное/инклюзивное общество» у наших авторов и дихотомией «общества ограниченного/открытого доступа» у Дугласа Норта с соавторами.

Вывод о ключевой важности институтов и политики развития влечет за собой важные последствия применительно к выбору политического курса, отмечают Эйсемоглу и Робинсон. Если экономический рост является продуктом вовсе не хорошей политики, например, либерализации торговли, которую теоретически можно включить и выключить, как электричество, а продуктом базовых институтов, то перспективы иностранной помощи начинают выглядеть отнюдь не радужно. «Плохие» правительства способны тратить впустую огромные ресурсы, предоставляемые им извне с самыми благими намерениями, притом поток долларовой помощи бедным странам может ухудшить качество их управления, в результате чего ситуация в обществе оказывается — из-за финансовой непрозрачности — хуже, чем она была бы в ином случае. Более того, как показывает

опыт США, приобретенный в ходе государственного строительства в Афганистане и Ираке, внешние усилия, имеющие целью помочь в создании базовых институтов, зачастую встречают ожесточенное сопротивление. Плохие институты в бедных странах существуют потому, что в их существовании заинтересованы влиятельные политические силы, стремящиеся к сохранению статус-кво. Хамид Карзай прекрасно понимает, как должно работать «чистое» правительство; все дело в том, что он не нуждается в таком правительстве. Если внешние акторы не найдут способ, позволяющий изменить подобный политический расклад, внешняя помощь в значительной степени окажется бесполезной.

Со всем этим трудно не согласиться. За прошедшие годы Эйсемоглу и Робинсон многое сделали для того, чтобы сфокусировать внимание как теоретиков, так и политиков на институтах и сформировать в сообществе экономистов консенсус относительно важности политики развития. В свете этого особенно обидно, что их подробная и полная красочных деталей книга практически не идет дальше этих общих выводов, обходя важнейший вопрос о том, какие именно институты необходимы для стимулирования роста, и оставляя без объяснения некоторые чрезвычайно важные исторические факты.

Первая проблема, к которой они обращаются, — концептуальная. Авторы проводят резкое различие между тем, что они называют хорошими «инклюзивными» экономическими и политическими институтами, которые они иногда обозначают также как «плюралистические», и плохими «экстрактивными», или «абсолютистскими», институтами. К сожалению, эти термины настолько широки, что Эйсемоглу и Робинсон так нигде и не дают четкого определения всего, что они под этим понимают, и не показывают, как они соотносятся с другими концепциями. Например, «инклюзивные» экономи-

ческие институты вроде бы включают в себя формальное право собственности и судебную систему, но должны учитывать и социальные условия, обеспечивающие конкретным людям доступ на рынок, такие как уровень образования и местные традиции. Да, «инклюзивные» политические институты предполагают современную электоральную демократию, но они имеют дело с обезличенным централизованным государством, а также доступом к правовым институтам и таким формам участия в политической жизни, которые имеют мало общего с современной демократией. Мы обнаруживаем, например, что в Англии после «Славной революции» 1688–1689 годов общество уже становилось «инклюзивным», несмотря на то, что право голоса имело значительно меньше 10 проц. населения. Когда авторы рецензируемой книги впервые использовали определение «экстрактивный» в своих ранних статьях, оно в буквальном смысле относилось к «экстрактивной», то есть добывающей, деятельности, как это было на оловянных и серебряных рудниках Потоси (Боливия) или на сахарных плантациях Карибских островов, когда соответствующие продукты добывались-экстрагировались благодаря труду рабов. Между тем в этой новой книге «экстрактивным», как кажется, называется любой институт, в той или иной степени препятствующий политическому участию граждан, от племенных общин до фермеров-скотоводов в Аргентине XIX века и — далее — до современной Коммунистической партии Китая.

Поскольку каждое из этих общих понятий («инклюзивный»/«экстрактивный» и «плюралистский»/«абсолютистский») охватывает множество разных значений, очень трудно зафиксировать их конкретный смысл. И столь же трудно проверить любое построенное на них утверждение. Поскольку же большая часть обществ в реальном мире

являют собой сочетание «экстрактивных» и «инклюзивных» институтов, любые факты роста (или его отсутствия) можно постфактум объяснить и «инклюзивными», и «экстрактивными» качествами системы.

Использование столь широких категорий и неспособность провести различие между компонентами политической «инклюзивности» в значительной мере снижают ценность этой книги, потому что хочется знать, как же каждый из компонентов влияет на развитие и как они взаимодействуют друг с другом. Во многих работах сравниваются, например, влияние — по отдельности — современного государства, верховенства закона и демократии на экономическое развитие, и похоже, что первые два из этих факторов гораздо сильнее влияют на конечный результат, нежели демократия. Действительно, есть много оснований полагать, что в очень бедной стране расширение электоральных прав может подорвать эффективность государства, так как при этом значительно расширяется поле для различных форм коррупции и клиентелизма. Индийская политическая система настолько «инклюзивна», что в ней практически невозможно реализовать крупные инфраструктурные проекты, потому что тут же начинаются судебные иски и демократические протесты (это особенно ярко контрастирует с «экстрактивной» китайской системой). Кроме того, как еще много лет назад отметил Сэмюэль Хантингтон, расширение участия граждан в политической жизни может дестабилизировать общество (и тем самым повредить развитию), если институты начинают действовать несогласованно. Иными словами, плюсы, которые обеспечивает «инклюзивность», необязательно суммируются в одно положительное целое: в некоторых случаях они могут вступать в противоречие друг с другом. Однако из книги мы об этом практически ничего не узнаём, поскольку авторы, кажется, полагают, что

чем больше «инклюзивности», тем лучше во всех отношениях.

Как и во многих других работах, активно апеллирующих к истории, но написанных экономистами, в рецензируемом томе порой встречаются довольно спорные факты и интерпретации. Например, авторы пишут, что «инклюзивную» республику в Риме сменила «абсолютистская» империя и что именно это и привело к последующему экономическому упадку Древнего Рима. Но как быть с тем, что власть и богатство Рима продолжали возрастать в течение еще двух столетий после правления Августа (а восточная часть империи просуществовала на удивление долго — до XV века)? Можно утверждать, что переход от узкоолигархической республики к монархии с развитыми правовыми институтами, наоборот, обеспечил обычным гражданам более широкий доступ к политической системе, одновременно решив и острую проблему политической нестабильности, которая под конец затерзала позднюю Республику.

Точно так же, следуя традиции, заложенной Нормом и Уэйнгастром, авторы рецензируемой книги указывают, что «Славная революция» 1688–1689 годов сыграла критически важную роль в становлении надежных и защищенных прав собственности, а также «инклюзивной» политической системы. Последнее утверждение в значительной мере справедливо, но право собственности у англичан уходит корнями в гораздо более древнюю традицию обычного права, начинающуюся еще с Нормандского завоевания Англии, и развитая торговая цивилизация возникла здесь задолго до 1689 года. «Славная революция» сыграла гораздо менее важную роль в становлении прав собственности как таковых, нежели в превращении короны в активного заемщика, чем и объясняется взрывной рост английского государственного долга в следующие сто лет.

Труднее всего авторам объяснить, исходя из предложенной ими схемы, ситуацию в современном Китае. КНР сегодня, по их мнению, является государством более «инклюзивным», нежели маоистский Китай, но все еще далеким от стандартов «инклюзивности», сложившихся в США и Европе. И тем не менее на протяжении последних трех десятилетий Китай развивается быстрее, чем любая другая крупная страна. Пекин ограничивает доступ на свой рынок, практикует меры финансового давления, не обеспечивает права собственности и верховенство закона по западному типу, а руководит им непрозрачная олигархия, именуемая Коммунистической партией Китая. Как же тогда объяснить экономические успехи Китая? Вместо того, чтобы увидеть, что этот факт не укладывается в рамки их модели (глящей: чем больше «инклюзивности», тем быстрее рост), авторы его попросту игнорируют, утверждая, будто китайский рост долго не продлится и что эта система в конечном счете рухнет (как Рим, через 200 лет???). Я тоже считаю, что Китай в конечном итоге рухнет. Как бы то ни было, но теория развития, неспособная объяснить наиболее выдающуюся историю экономического успеха наших дней, на мой взгляд, оставляет желать лучшего.

И все же общие выводы авторов рецензируемой книги представляются мне бесспорными и политически важными: именно поэтому я оцениваю ее в целом положительно. Хочется только пожелать, чтобы авторы активнее обращались к базовым категориям, уже давно используемым в других областях социальной науки, таким как «государство», «верховенство закона», «патримониализм», «клиентелизм», «демократия» и т. п., вместо того, чтобы изобретать неологизмы, которые больше затемняют, чем раскрывают проблему. ■

ФРЭНСИС ФУКУЯМА

David C. Engerman. Know Your Enemy: The Rise and Fall of the America's Soviet Experts. Oxford Univ. Press, 2009. 459 p.

Внаши дни житель американской столицы встречает на лотках букинистических магазинов старые книги, посвященные советской армии и флоту, выцветшие биографии Иосифа Сталина и Никиты Хрущёва, русско-английские военные словари. Все это остатки библиотек покидающих сей мир специалистов по Советскому Союзу, чьи наследники избавляются от ненужных книг. Здесь можно увидеть экземпляры с дарственными надписями бывшим министрам обороны и эклибрисы людей, чьи имена были тайной за семью печатями. Некогда остроактуальное чтение, которое в русских переводах распространялось в сам- и тамиздате, сочинения, которым давали решительный отпор советские пропагандисты, теперь идут по три доллара за штуку. Как, например, пройти мимо валяющегося на вашингтонском книжном развале русско-турецкого военного словаря 1960 года издания? Как не обратить внимание на сборник «Советская военная мощь»? Его ежегодно выпускал Пентагон, а в ответ в СССР выходила брошюра «Откуда исходит угроза миру». XX век с его холодной войной, конфликтом двух общественных систем, ракетно-ядерным противостоянием ушел в прошлое, оставив любопытным искателям теней возможность покопаться в том, какие дискуссии разворачивались в сообществе советологов и кремленологов.

Именно таким искателем оказался американский историк Дэвид Энгерман, написавший книгу «Знай своего врага» (*Know Your Enemy*). Энгерман работал в архивах, провел около ста интервью и осуществил детальную инвентаризацию американских организаций, исследовательских центров, программ науч-

ного обмена, дискуссий, споров, существовавших вокруг того государственного, культурного, военного, экономического и политического явления, которое представлял собой Советский Союз. Энгерман написал книгу, которая позволяет читателю глубоко проникнуть в мир политики, американских учреждений, идей и личностей, столь типичных для времен холодной войны.

«Знай своего врага» охватывает период с окончания Второй мировой войны до распада СССР в 1991 году. Энгерман описывает американские исследования Советского Союза как полную жизни интеллектуальную отрасль, изучавшую не только «советскую угрозу», но и советские общество и культуру, историю России и русскую литературу: «Учреждения американского правительства и благотворительные фонды, которые поддерживали российские исследования, не только создали среду для изучения Политбюро ЦК КПСС, одновременно они способствовали подготовке специалистов по Пушкину. Хотя они искали сведения о Брежневле, но также поддержали изучение Булгакова и, возможно, Бахтина».

Оборачиваясь назад, можно говорить о том, что американские силовые структуры сыграли среди прочего позитивную просветительскую роль в распространении в США знаний о России. По оценке Энгермана, эта широкая сеть настолько прочно связала Пентагон с американскими «мозговыми центрами», что в какой-то мере эта связь сохраняется и сегодня. Советология, по мнению Энгермана, выступила моделью для других региональных исследований, включая изучение ислама.

Подзаголовок книги «Взлет и падение американских экспертов по Советскому Союзу», разумеется, указывает на то, что экспертное сообщество оказалось не способно предсказать главное событие в истории Советского Союза — его распад. Американская советология неоднократно подвергалась за это критике, а советологов (экономистов, историков, военных аналитиков) упрекали за излишнюю ангажированность, а также за то, что из-за чрезмерного внимания к деталям они не смогли разглядеть общую картину происходящего в СССР. Широко распространен образ советолога, который бесконечно анализирует порядок расположения членов Политбюро на мавзолее Ленина во время парада и из этого делает выводы о расстановке сил в правящей верхушке Советского Союза.

Главным провалом советологии Энгерман считает неспособность предсказать появление Михаила Горбачёва или объяснить его политику. При этом автор считает, что это «не было следствием фундаментального порока в структуре советских исследований или политического или интеллектуального влияния на них. Этот провал произошел из-за внутренних противоречий в самой этой сфере, нараставших в 1970-е и 1980-е годы. <...> В результате в тот момент, когда предмет исследования переживал экзистенциальный кризис, эксперты оказались не способны его объяснить. <...> В 1990-е годы дело осложнилось спорами о том, что пошло не так в советологии и какие именно ошибки были допущены исследователями СССР».

По окончании Второй мировой войны очень немногие в правительстве США или в научных кругах были осведомлены о происходящем в Советском Союзе. Чтобы восполнить этот пробел, группа исследователей, военных, шпионов и филантропов создали отрасль, получившую название «советские

исследования», или *Soviet Studies*. Вместе они выработали некую интеллектуальную составляющую политологического сообщества, которая помогала вести холодную войну и определила способ мышления тех времен.

Вторая мировая война принесла кардинальные перемены в жизнь научного сообщества и исследовательских центров. Многие ведущие университеты США испытали кадровый голод, в то время как легионы профессоров отправились в Вашингтон, пишет Энгерман: «Они стали работать в секретных лабораториях, причем не только в тех, что разрабатывали новые радарные установки или атомную бомбу, но также в исследовательских группах, занимавшихся природой лояльности американских военнослужащих своему правительству, японской культурой, последствиями разрушений немецких городов и тем, каким образом СССР смог выстоять в войне с нацизмом».

Тем не менее, когда Уинстон Черчилль заявил в марте 1946 года о «железном занавесе», опустившемся над Европой, правительство США оказалось в значительной степени не подготовленным к миру, разделенному на Восток и Запад. «В его распоряжении было несколько десятков экспертов по Советскому Союзу и еще меньше экспертов по странам Центральной и Восточной Европы», — говорится в авторском предисловии к книге Энгермана. «Двумя годами позже, когда кризисы холодной войны уже охватили мир, только что образованное ЦРУ приняло на работу тридцать восемь аналитиков, занимавшихся советской проблематикой, из которых только двенадцать человек говорили по-русски, у одного была докторская степень, а по специальности они могли быть инженерами или библиотекарями; многие из этих экспертов никогда не были в СССР», — отмечает Энгерман.

«Как американский чиновник может предложить внешнеполитический план, не зная,

что происходит в Кремле, не зная точно, кто находится там внутри, не зная, чем живут люди в этой огромной и разнообразной стране?» — задается вопросом автор книги.

В конце 1940-х годов американский страх перед коммунистической угрозой усиливался по мере советизации Восточной Европы, появления у СССР атомной бомбы и подъема Китайской Народной Республики.

В советологических кругах пытались осмыслить происходящее после смерти Сталина, медленную оттепель, свержение Хрущёва в результате «дворцового переворота» и приход к власти Брежнева.

После подавления Пражской весны 1968 года Ричард Никсон попытался снизить напряженность в советско-американских отношениях и объявил политику «разрядки», что, в свою очередь, способствовало политизации советологических исследований. «С появлением в рядах геронтократического политбюро 1980-х годов молодого Михаила Горбачёва у политологов возникли новые надежды и новые страхи», — пишет Энгерман, а мы добавим, и новые споры, и новые ошибки.

Энгерман отмечает важную роль Фонда Рокфеллера в финансировании исследований СССР в послевоенный период. Особую роль Фонд Рокфеллера сыграл в создании Русского института при Колумбийском университете в Нью-Йорке, который возглавил Героид Робинсон, историк, проработавший в университете два десятка лет. (Первоначальная сумма, выделенная Фондом Русскому институту, составляла 250 тыс. долларов.)

Робинсон неоднократно указывал на необходимость более глубокого анализа большевизма, «коммунистического эксперимента», который, по его мнению, «коренился в российском прошлом». Движущей силой российской истории Робинсон считал проблемы аграрного производства и деревенской жизни. Этому посвящена его книга

«Деревенская Россия при старом режиме», опубликованная в 1932 году и основанная на тщательном изучении архивных материалов. Книга принесла автору славу одного из лучших историков России в Америке. «Но ни долголетие, ни ученые степени не объясняли полностью причин, по которым Робинсон был избран в качестве руководителя Русского института; в военное время он был руководителем отдела СССР в Управлении стратегических служб, разведывательном управлении США, предшествовавшем ЦРУ», — пишет Дэвид Энгерман. За работу в Управлении стратегических служб Робинсону в 1947 году была присвоена Медаль свободы.

Героид Робинсон отличался исключительной дотошностью и требовательностью, заставляя своих сотрудников работать по ночам. Под его руководством создавались уникальные исследования и обзоры, касающиеся узкоспециальной тематики, такой как организация транспорта и связи в Юго-Восточной Сибири, или положение с системой здравоохранения в этом регионе, или специальные инструкции по взаимодействию с бойцами Красной армии при общении с ними в оккупированной Германии.

Для составления этих докладов требовалась кропотливая работа по собиранию разрозненных кусков информации в единое целое. Даже статьи из «Правды» поступали в Русский институт с опозданием на несколько недель, если приходили вообще. Робинсон решил, что эту проблему можно решить, если в американском посольстве в Москве будет находиться исследователь из Управления стратегических служб, который будет собирать и отправлять в Америку как можно больше газетных и журнальных материалов. Преодолев сопротивление со стороны Госдепартамента, Робинсон смог отправить в Москву молодого политолога Роберта Такера — в будущем автора знаменитых книг о Советском Союзе. Затем к Такеру присоеди-

нился Мелвилль Рагглз, чьи должностные обязанности состояли в приобретении газет и журналов. Купленную в киосках прессу затем паковали в ящики и отправляли в Америку.

Робинсон считал, что анализ событий в Советском Союзе нельзя поручать эмигрантам, поскольку они не могут быть объективны. По его мнению, этим должны заниматься американцы, но только те, кто провел некоторое время в России. Робинсон рассчитывал на расширение обмена между двумя странами и надеялся, что сможет направлять американцев для ведения исследований в советских архивах и библиотеках, а советских исследователей приглашать в США в качестве преподавателей. Энгерман пишет, что в архивах Русского института содержится переписка о возможностях приглашения советских лекторов. Речь шла об историках Исааке Минце, Евгении Тарле, экономистах Петре Лященко и Евгении Варге. Среди возможных лекторов упоминается даже Андрей Вышинский. Однако попытки привезти в США советских ученых не увенчались успехом: приглашаемая сторона не выказывала заинтересованности в поездках в Америку, тем более что, по американскому законодательству, каждый коммунист, въезжавший в США, должен был сдавать отпечатки пальцев. Советская сторона не приветствовала приглашения из Колумбийского университета, а советские газеты называли Русский институт «основным звеном в системе тотального шпионажа».

Весьма детально Энгерман описывает так называемый Проект советской уязвимости (*The Soviet Vulnerability Project*), участники которого занимались сбором информации и вырабатывали рекомендации по формированию политики в отношении СССР. Основной задачей была разработка стратегии по подрыву контроля советского правительства за своим населением и территориями посредством сочетания дипломатии и пропаганды. «Несмотря на агрессивный тон доклада,

в нем отвергнуто одно из предложений, которое время от времени циркулировало в Вашингтоне, а именно идея о том, что США могут “оторвать” от СССР важные республики, такие как Украина и Армения», — утверждает Энгерман. Тем не менее доклад включал в себя предложения о том, как ослабить советский контроль над восточноевропейскими сателлитами, о развитии программ радиовещания на страны советского блока и о действиях на случай смерти Сталина. Доклад в итоге был издан в виде книги под названием «Динамика советского общества».

Обширная информация, получаемая от этого и других проектов, один из которых был посвящен сбору сведений от беженцев из Советского Союза или тех, кто оказался после войны в Западной зоне немецкой оккупации, создавала массив данных, которые затем использовались в составлении докладов и публикации научных монографий. Например, экономист Джозеф Берлинер написал работу под названием «Фабрика и управленец в СССР», в которой он проанализировал сведения, полученные от бывших управленцев, информацию из открытых источников, а также материалы из советских журналов от юмористического «Крокодила» до «Цветной металлургии». Результатом стало довольно детальное описание советской экономики. В частности, Берлинер ввел в американский оборот понятия «блат» и «толкач». Берлинер утверждал, что нажим, который советское руководство оказывает на население, чтобы добиться быстрого экономического роста, оказывается подорванным тактикой «толкачей». Взгляд Берлинера и его оценки оказались достаточно точными. Экономические реформы 1957 года, объявленные в СССР после того, как книга вышла в печать, подтвердили критические оценки, сделанные Берлинером в отношении практического управления советской экономикой.

Отдельный раздел Энгерман посвящает советской «перестройке» и краху американской советологии, случившемуся после распада СССР. Он отмечает, что в начале 1980-х годов политизация в американской советологии приобрела огромные масштабы. В Белом доме находился Рональд Рейган, а в составе Совета национальной безопасности США заседал Ричард Пайпс. Ученые-советологи, которые надеялись снизить напряженность холодной войны и подвергали критике политику администрации в отношении Советского Союза, находились в оппозиции. Экономическая советология переживала демографический упадок — немногие молодые экономисты стремились прийти на смену уходящим на пенсию.

Нарастающие политические споры способствовали разногласиям между группами исследователей. Александр Даллин из Стэнфорда и Маршалл Шульман из Колумбийского университета писали глубокие аналитические обзоры текущих событий, больше похожие на комментарии экспертов, чем на специализированные научные исследования. В начале 1970-х годов к ним присоединились экономист Маршалл Голдман и политолог из Принстона Стивен Коэн, которые также активно подключились к политическим дебатам. Они поддерживали политику «разрядки» и советско-американского сотрудничества, считая, что такой курс ускорит реформаторские настроения в советском обществе. Для того чтобы противостоять этой группе, консервативные исследователи присоединились к сенатору Генри Джексону, который в 1970-е годы выступал против политики «разрядки», проводимой Ричардом Никсоном и Генри Киссинджером. Обе стороны столкнулись в администрации Джимми Картера, где Шульман работал советником в Госдепартаменте, а Збигнев Бжезинский служил помощником президента по национальной безопасности. Сокрушительная победа

Рональда Рейгана на президентских выборах 1981 года завершила все разговоры о разрядке и привела к власти многих людей Генри Джексона, включая Ричарда Пайпса.

Стремительные изменения, начавшиеся с приходом Михаила Горбачёва, окончательно запутали всех, утверждает Энгерман. События в СССР, которые ежедневно освещались американской прессой, очевидным образом не вписывались в рамки существующих политологических теорий. Как пишет автор книги «Знай своего врага», Горбачёв смог вывести СССР из эры брежневской стагнации, но его политика мало способствовала выходу из застоя американских советологов.

Некоторые американские исследователи того времени ожидали, что основной движущей силой перемен станет старение советской элиты. Сторонники разрядки отмечали плохое состояние здоровья стареющих членов политбюро ЦК КПСС. Когорта Брежнева во многом состояла из выдвиженцев сталинской поры, было ясно, что они недолго пробудут во главе Советского Союза. К 1980-м годам в составе Политбюро было всего два человека моложе 65 лет, одним из которых был Горбачёв. Основываясь на анализе этой группы, такие исследователи, как Арчи Браун, Стивен Коэн и Джерри Хоу (*Hough*), утверждали, что новое поколение может принести с собой в СССР значительные перемены. Однако Коэн отмечал, что «сама по себе смена поколений» недостаточна, чтобы гарантировать новую эпоху «реформ сверху» по хрущёвскому образцу.

С приходом Горбачёва оценки американских советологов резко разошлись. Роберт Конквест считал, что гласность предначтена исключительно для иностранного потребления, и утверждал, что Горбачёв мало что предлагает для кардинальной перемены всей системы. Адам Улам призывал к бдительности перед лицом советской агрессии. Даже те, кто был убежден в искренности

Горбачёва, сомневались в том, что он сможет довести свои намерения до конца.

Все соглашались в одном: западная советология потерпела провал, потому что не сумела разработать соответствующую основу для понимания происходящего. Многие исследователи того времени критиковали западных наблюдателей, одновременно восхваляя работу советского диссидента Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», изданную в 1970 году. Но хотя Амальрик действительно предсказывал, что СССР не переживет 1980-е годы, он считал, что его гибель наступит в результате поражения со стороны Китая. Труды американских советологов, написанные в начале 1980-х годов, указывали на многочисленные проблемы, с которыми столкнулся Советский Союз, но они не

предполагали, что страна окажется не в состоянии их преодолеть.

Дэвид Энгерман создал содержательное и информационно насыщенное сочинение о зарождении и конце советских исследований. Он показал, что советология была полем борьбы, на котором различные игроки сражались за влияние на остальных и на правительство США. Судьба такого сложного организма, как американская советология, была неразрывно связана с противником Америки, каким был Советский Союз, и завершилась с его распадом. Но, как сказано в одной из рецензий на книгу Энгермана, «некий образ далекого и малоизвестного противника продолжает влиять на новые поколения американцев, все еще недоумевающих по поводу событий, происходящих в этой части мира». ■

ПЁТР ЧЕРЁМУШКИН